

Великие люди русского народа



Н. А С Е Е В

МАЯКОВСКИЙ

Молодая Гвардия — 1943

- [Н.Асеев](#)
 - [1](#)
 - [КОМУ РОДНЯ МАЯКОВСКИЙ](#)
-

Н.Асеев

**ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
МАЯКОВСКИЙ**

В нынешнем, 1943 году исполнилось пятьдесят лет со дня рождения Маяковского. Трудно мне его представить убеленным сединами, старящимся человеком, исполненным тем осторожным благоразумием, которое охлаждает порывы и о котором он сам сказал с таким убийственным презрением:

Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье.
Пусть серебро годов вызванивает уймою.
Надеюсь, верую: веки не придет
ко мне позорное благоразумие.

Трудно представить себе успокоившимся этого человека, вечно находящегося в движении, во взволнованности своим собственным трудом и трудом товарищей, человека, живо откликающегося на всякое движение жизни, заинтересованного всем происходящим, принимающего участие во всем совершающемся.

Высокий, широкогрудый, большеглазый, громкоголосый, встает он передо мной во весь свой размах, как бы заполняя собою весь кругозор.

Гордый, чуть откинутый назад широченный разворот плеч, большие ширококостные руки и ноги, крепкая мускулистая шея, поддерживающая колонной тяжелую голову с крупными, резко и в то же время жестко очерченными характерными чертами, — весь он был «весомый, грубый, зримый» и вместе с тем необычайно привлекательный: взгляд долго не мог оторваться от этого необычного вида человека. Широко разлетевшиеся надбровные дуги, великолепный купол лба, широкие крылья прямого носа, упрямый изгиб губ — углами чуть книзу, — точно вылепленный, волевой подбородок, две рано наметившиеся мужественные складки возле углов рта. Весь овал головы, какой-то удивительно пропорциональный, приятно, без приторности правильный и вместе с тем никогда и ни у кого больше не встречавшийся. И все это освещали глаза — великолепно-карие, то задумчиво-строгие, то насмешливо-добродушные, то горящие гневной энергией, широко раскрытые, никогда не щурившиеся на мир, опущенные густыми ресницами, горячие, умные, говорящие глаза.

Много осталось портретов Маяковского. Но ни один из них не может

передать полностью впечатление от этих глаз, потому что выражение их менялось в зависимости от услышанного, от замеченного, вошедшего в поле их зрения. И потому так жалко, что не сохранилось снимков Маяковского в движении, в беседе, что кино так бедно и обидно мало сохранило нам его живое обличье.

И однако: на портрете ли двадцатидвухлетнего юноши в пиджаке с широкими отворотами; на карточке ли элегантного молодого человека, уже умеющего повязать галстук по-модному; в кепке, чуть сдвинутой набок, и в пальто реглан; на этих ли снимках последних лет — коротко стриженная голова с уже легкой на лбу мужественной поперечной складкой, — везде светятся эти смелые, непокорные, открытые на весь мировой простор, ясные глаза.

«Глазастый дьявол! Всего тебя в глаза вбирает!» — сказал о нем один из долго не соглашавшихся с ним слушателей, впоследствии ставший его горячим поклонником. И правда: если кто встречался с ним взглядом, тот обязательно замечал правдивость, открытость, честность и физического и душевного взгляда Маяковского.

Молодым юношей встретил я Маяковского на улицах Москвы еще до первой войны с Германией, в 1913 году. Нам, тогдашней молодежи, уже были известны его стихи, отпечатанные на стеклографе, а не типографским способом, так что мы видели самый почерк автора. Всем своим обликом и содержанием отличались эти стихи от выверенных, строгих видом и формой стихов в дорогих книгах, которые продавались тогда в магазинах. Говорилось в стихах Маяковского о совершенно простых, будничных вещах: о матери, о солнце, об уличных вывесках, обо всем видимом и окружающем нас повседневно, но говорилось так, такими словами, что все видимое и примелькавшееся глазу вновь вставало, как будто окрашенное в новые, свежие цвета, становилось значительным и заново ощутимым, близким и дорогим.

А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.

И сразу становилась понятна эта «больная мама», у которой в комнате

комод и не так-то уж заполнены мебелью пустые углы, и ясно, что квартира где-то не в центре, а против завода Шустова. Но главное — это то, что «мама знает». Мама знает все о сумасшедших мыслях своего сына стать великим поэтом революции, о его гордости и отваге, о тяжести будущих задач. Мать знает все, и не осуждает своего сына, и верит в него, и болеет за него. Вот что чувствовалось, воспринималось за этими странно расположенными строками, изданными на плохой бумаге.

То же и о земле:

Земля!
Дай исцелую твою лысеющую голову,
лохмотья губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.

И опять-таки страстная нежность сыновней привязанности чувствовалась в этих строках, за внешней грубостью и кажущимся косноязычием скрывающих большую боль и заботу о старящейся земле и матери, с грудью впалой и лысеющей головой. Поэт говорил о сыновнем расставании. Земля! Разве он думал расставаться с ней? Да! Вот с той землей прошлого, леса которой — он знал это — поредеют, груди гор которой впадут под напором новой человеческой энергии, но которая все останется любимой и близкой человеку, ее сыну и наследнику!.. Эта страстная нежность расставания молодости со своим прошлым и была в строчках Маяковского. Было и еще многое, чего не перескажешь. Были вывески и звезды, дождь и мостовые, небо, потолки харчевен и дыры небоскребов, был многоименный обычный мир, не допускающийся в стихи других поэтов из-за его обычности, каждодневности...

В других стихах все было чинно, торжественно, недвижно. Другие стихи того времени трактовали о тонкости чувств избранных счастливых, у которых и радости и печали были особенными, никогда не повторявшимися в опыте других людей. У Маяковского же все было привычное, близкое, всеми переживаемое. Но высказано это все было какими-то необычными для тогдашней литературы словами — меткими, торопливыми, как речь на бегу, и вескими, как крупный шрифт в книге. И все это было повернуто наново, все было не похоже на сказанное и повторенное в стихах других поэтов. В особенности нам нравилось это:

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Сразу было непонятно — про что. Но потом, вчитываясь, начинаешь ясно видеть. Ведь студень-то похож в действительности на океанскую воду, мутно-зеленую и колеблющуюся. А «косые скулы» — опоясавшее горизонт бесконечное пространство воды и неба! Значит, он хочет сказать, что, и не видя океана, можно его представить себе тарелкой студня в дешевой харчевне! Значит, не только богатым путешественникам доступно его видение! Мир доступен для всех — было бы лишь желание его увидеть. Это было открытием.

И «смазанная карта будня» вдруг засверкала новыми красками — красками молодой фантазии. В самом деле, разве кто прислушивался к мелодиям дождя, звенящего по водосточным трубам? А ведь это самая близкая музыка для не имеющих приюта людей, которым не приходилось ходить в концертные залы того времени. И флейты водосточных труб, и струны телеграфных проводов имеют своих слушателей, бредущих под дождем по дорогам и мостовым, не знающих, где преклонить голову на ночь. Вот о них-то и говорил Маяковский. Говорил резко, громко, без обиняков и сочувственных вздохов, потому что сам он умел слышать все то, что слышали они.

Мы стали прислушиваться к его голосу.

Стихов у него тогда еще было мало. Но уже тогда немногие его строки заронили в молодежи жажду слышать и обдумывать эти трудно дающиеся слова, которые, раз понятые, давали возможность по-новому ощущать окружающее.

Поэтому, когда я встретился с Маяковским на бульваре и, до того не видав его, сразу узнал, — я подошел к нему и начал разговаривать. Через пять минут, услышавши, что я читал и понимал его стихи, он был уже со мною как со старым знакомым. Не помню точно, как именно и о чем мы

говорили, помню только, что он поразил меня тем, что разговаривал без околичностей, без обиходных условных «вежливостей». Когда я сказал, что пишу стихи, он спросил меня, про что я пишу. Тогда для меня этот вопрос был неожидан — ведь нельзя же в двух словах рассказать темы своих стихов! Да и, сказать по правде, мне неинтересны стали сразу все мои стихи. Я встретился с огромным явлением, я это чувствовал, и мне хотелось наблюдать и понять его, а не говорить о себе. А он шел рядом, такой большой, и отечески осматривал меня своими океанами-глазами. Я чувствовал, что встреча эта для меня неизгладима по своим последствиям, что я уже всей душой на его стороне, что я согласен — и рад быть согласным — с каждым его словом, хотя слова эти не были какими-нибудь пророческими или многозначительными. Говорили о стихах, о том, что кому нравится. Помнится, он сказал, что никакой художник еще не придумал такого пейзажа города, как тот, что отражается в стеклах идущего трамвая, — и притом бесплатно.

Когда я расстался с ним где-то у тогдашних Мясницких ворот, мне сейчас же захотелось его опять увидеть. Но адреса своего он мне не дал, и встретиться пришлось лишь годом позже. Узнать о его жизни тоже было не у кого. Говорили разное. Выяснил я только, что он учится в школе живописи, а по костюму его я понял, что заработки у него неважные. И только много позже я узнал, что родился он в Грузии, под Кутаиси, в селении Багдади, которое теперь носит его имя, что его семья состояла из отца, служащего в казенном лесничестве, матери и двух сестер.

Отец его был замечательным по прямоте, великодушию, широкому гостеприимству человеком, память о котором до сих пор еще хранят тамошние старожилы, жители окрестных грузинских селений. Высокий ростом, Владимир Константинович Маяковский передал свои черты сыну не только по внешности. Он был веселый, открытый, справедливый человек, никому не позволял говорить с собой сверху вниз, любил шутку, правдивое слово, смелый взгляд. Это он и передал своему сыну в наследство.

Мать Маяковского, до сих пор здравствующая, Александра Алексеевна, очень скромная, тихая, но, несмотря на внешнюю мягкость характера, непреклонная в своих убеждениях и взглядах, женщина, самоотверженная и стойкая в несчастьях. И это тоже перешло к сыну и помогло сформировать его характер непреклонного борца и стойкой убежденности человека. Сестры, Людмила Владимировна и Ольга Владимировна, были сверстницами и участницами его детства не только по семейной близости, но и по общности дум, стремлений, интересов.

Маленький Маяковский рос среди привольной природы Грузии, слушал шум ее рек, видел хрусталь ее небесной синевы.

Когда умер отец Маяковского, тот был еще мальчиком. Но мальчиком-затевалой, вожак, бравшим руководство иногда и над более взрослыми ребятами. Близкие его рассказывали мне, что Маяковский, бывало, обязательно настоит в своем в игре ли, в споре ли. И это не было простым упрямством. Нет, он умел уже тогда доказать, убедить, увлечь. Это в нем осталось навсегда.

В семье было шумно, людно. Люди Маяковские были общительные, не запирались на замок; постоянно бывала молодежь, велись споры, отстаивались мнения. Молодежь была по большей части революционная. Маяковский с детства прислушивался к спорам и толкам о революции. Потом его — по летам еще мальчика, по росту уже обогнавшего сверстников — приняли в социал-демократический кружок.

Революция 1905 года в Грузии проходила бурно, и Маяковский всей молодой своей душой был с ней. Он учился тогда в гимназии в Кутаиси в четвертом классе.

Вот как вспоминает он об этом сам:

«Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника, Исидор, от радости босой вскочил на плиту — убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю все живописно: анархисты в черном, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты. Речи, газеты. Из всего — незнакомые понятия и слова. Требую объяснений. В окнах белые книжицы: «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой социал-демократов!» Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир».

С тех пор он не изменил революции.

Вскоре после смерти отца семья переехала в Москву. И там у Маяковских продолжала собираться революционная молодежь. Подполье, участие в пропагандистской деятельности, первый и второй аресты — и вот Маяковский уже юноша со сложившимся мировоззрением.

Во время одиннадцатимесячного заключения в Бутырской тюрьме — начало литературной деятельности. Пробовал писать про революцию — оказалось, не хватает умения. Подражать уже существующему не захотел.

После освобождения из тюрьмы взялся за живопись. В результате — знакомство с товарищами по искусству, думы о новом искусстве, споры, замыслы. Но во всем этом неизменная мысль о том, что и то модное

искусство, каким восхищались тогда, и быт устарели, отжили, изнасили себя. Революция ведь и должна была сломать все это! Нужно готовиться к новому, еще не виданному на земле.

Под прикрытием «странности» и «непонятности» Маяковский заговорил о «жирных в их домах-скорлупах», о том, что «даже переулки засучили рукава для драки», о том, что «если бы вы так голодали, — дали востока и запада вы бы глодали, как гложут кость небосвода заводов копченые рожи». И странно и жутко — весело звучали тогда в тишине реакционного застоя эти строки, привлекая к себе внимание своей грубостью и непохожестью ни на какие другие.

Стойте!
На улицах,
где лица —
как бремя,
у всех одни и те ж,
вчера родила старуха — время
огромный
криворотый мятеж!

Вот эти мятежные, взволнованные, смелые слова и были дороги тогдашней молодежи своей особой силой и резкостью на фоне академического, зализанного, гладенького искусства.

Настал 1914 год. Началась империалистическая война. Маяковский уже был вождем молодого тогдашнего искусства. Ждали, что скажет о войне новый поэт. И вот раздалась гневные непреклонные строки, взбудоражившие сознание не только любителей стихов:

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,
— может быть, сейчас бомбою ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Это было по лицу, хлестало по совести, выводило на свет всех, кто устроился удобно, сделав войну источником своей наживы, чинов, орденов, полученных за угождение веред начальством, состояний, нажитых на поставках в армию.

Смелость Маяковского становилась совсем «неудобной». Этот рот надо было как-то зажать. И вот — это звучит как глупая, бездарная шутка, но это не было шуткой, это было всерьез — поэта попытались объявить сумасшедшим. Был созван негласный консилиум врачей-психиатров в доме, куда под каким-то предлогом зазвали Маяковского. Но врачи не могли в нем найти никакой «ненормальности». Как разъярился Маяковский, узнав об истинной причине приглашения! Он ответил гневноиздевательским стихотворением, помещенным в «Сатириконе».

Так определились отношения Маяковского со старым обществом.

Вскоре Маяковским была написана его крупнейшая вещь того времени — «Война и мир», которая привлекла внимание Максима Горького и была напечатана в издаваемом им журнале «Летопись». Но легенда о непонятности, грубости, непоэтичности Маяковского прочно утвердилась за ним, пущенная напуганными его резкостью и правдивостью охранителями старого.

И только Октябрьская революция разрубила путы сплетен и клеветы, связывавшие его молодость. Он сразу, без раздумья и колебания, пошел на работу с большевиками. 17 ноября 1917 года на митинге Союза деятелей искусств раздался его голос: «Нужно приветствовать новую власть и войти с ней в контакт».

С той поры деятельность Маяковского — у всех на глазах. Что сделано им за годы Советской власти, видимо и известно всеми. Всего этого не охватишь в небольшом очерке. На это нужны целые исследования.

Но вот что нужно и важно помнить: Маяковский с малых лет был революционером, новатором. Этому своему назначению он не изменил никогда. «Все сто томов его партийных книжек» действительно пронизаны единым стремлением отдать себя всего на службу революции. Многогранно и безотказно применял он свой гений к самым, казалось бы, мелким вопросам повседневья, считая ничто не мелким, если дело касалось нового строительства страны. Лирика и эпос, трагическое и сатирическое, шутка и гнев — все сверкало и переливалось в его строках, объединенных одной целью, одной направленностью — служить Родине, служить революции.

В годы гражданской войны и в первое послевоенное время Маяковский работал в созданных тогда агитационных плакатных «Окнах РОСТА». Он писал лозунги, стихотворные подписи, грозные и острые, как

боевое оружие, метко поражавшие врага, моментально расходящиеся по стране; их читали и заучивали в красноармейских массах на фронтах. Он сам рисовал плакаты. Ни одно крупное событие в жизни страны, в боевых делах на фронте не проходило мимо «Окон РОСТА» — и отклик следовал буквально через несколько часов после получения известия о событии.

Часто Маяковский оставался ночевать в редакции «Окон».

Особый стиль и характер этих «Окон», сделавший их агитационно-сатирической, плакатно-боевой летописью тех лет, создан Маяковским.

И сейчас, во время Великой Отечественной войны, глядя на повсеместно по всей стране расходящиеся «Окна ТАСС», как забыть нам, что зачинателем этого дела и творцом лучших его традиций был Маяковский?

Для него же из ежедневной работы в «Окнах РОСТА» начали вырастать и закрепляться постоянные привычки общения с большим читателем, с беспредельными просторами раскинувшейся страны.

Естественным было вслед за этим непосредственное знакомство с аудиторией, аудиторией не специально подготовленных к литературным спорам знатоков, а с непредубежденным слушателем заводской, красноармейской, комсомольской массы. И здесь народ узнавал в нем своего трибуна. Везде Маяковский пользовался огромным сочувственным вниманием.

Ни один поэт не изъездил столько земли и не выступал столько, сколько Маяковский.

Он ездил по нашей стране, он выступал в городах многих стран мира. Армавир, Баку, Бердичев, Варшава, Владикавказ, Вера-Круц, Вятка, Воронеж, Гавана, Гавр, Гагра, Детройт, Днепропетровск, Запорожье, Казань, Калуга, Кенигсберг, Керчь, Киев, Кишинев, Кливленд, Луганск, Минск, Мехико-Сити, Новочеркасск, Новороссийск, Нью-Йорк, Полтава, Пермь, Питсбург, Прага — вот далеко не полный список городов, где он побывал и выступал.

И это не было простое чтение стихов. Каждое его выступление превращалось в своеобразный митинг. Куда бы за границей ни приезжал Маяковский, с ним прибывал советский воздух.

И всюду, где выступал Маяковский, с ним приходило волнение и порывистость, нарушались благодушие и застой.

Из этих поездок Маяковским был вынесен огромный опыт, в них закалялось его оружие — оружие стиха, наполненного живой мыслью, жарким убеждением в правоте высказываемого.

Лучший поэт нашей, советской эпохи был страстным патриотом своей

Родины. Он любил могучие ее просторы, ее землю, ее воздух, ее великий народ. С какой гордостью предъявлял он всюду на планете, где побывал, свою «пурпурную книжицу», свой советский паспорт: «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Но он знал и постоянно помнил, что все завоеванное в нашей стране и великую стройку новой жизни еще придется отстаивать в кровавых битвах с врагом.

Он видел, знал и повторял, что отпущенное нам судьбой время мирного труда — это, в сущности, перемирие. Он чуял «гарьку», которую доносило из-за рубежа. И до конца жизни — особенно упорно в последние свои годы — он не переставал бороться с теми, кто думал, что можно «завернуть» боевое знамя и отдохнуть у «ясности вод», он призывал к повседневной мобилизационной готовности: «Где же вы небосвод узрели мирный?»

Он предостерегал против «угрозы вражьей»: «Нет фронтов, но опасность есть!»

Он кидал лозунги: «Рабочий, крестьянин, будь готов! Будь горд, будь рад стать красноармейцам в ряд», «Нас тянут, товарищ, к войне от сохи. Держи, товарищ, порох сухим!»

И он назвал имя того зверя, который уже изготовлялся толкнуть мир в пропасть чудовищной войны, — фашизм.

Во всех уголках земного шара
рабочий лозунг будь таков:
Разговаривай с фашистами языком пожаров,
словами пуль, остротами штыков.

Родина и революция — понятия, которые у него были неразрывно связаны.

Такие величественные произведения о нашем времени и его делах, как «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», вошли во все хрестоматии.

Такие глубоко народные произведения, как «150 000 000» и «Мистерия-Буфф», еще не нашли полной и следуемой им оценки. А я помню, как слушали рабочие мастерских временного ремонта во Владивостоке «Мистерию-Буфф» в моем, не авторском чтении. Слушали затаив дыхание, с восторгом и надеждой, слушали, отрезанные тогда от Советской России, чуя в этом произведении великую связь народа, его чувств и стремлений, соединенных в одну неодолимую силу.

«150 000 000» также еще не доведены до слушателей, как бы им должно было прийти. Чтецы предпочитают более легкие и знакомые вещи.

Есть многие замечательные произведения, которые в толстых томах полного собрания сочинений тонут в редакционных примечаниях. Поэмы «Летающий пролетарий», «Пятый интернационал», «Рабочим Курска» считаются неоконченными или неудачными. Но насколько же они законченнее и удачнее многих, чем иногда, на недолгий срок, восхищались критики! И театральные произведения Маяковского тоже, надо сказать, еще не имели настоящего своего воплощения, не имели настоящего мнения о них народа.

«Тысячи тонн словесной руды» переплавлены Маяковским в жгучее слово. Лозунги-рифмы, плакаты и агитки, устные выступления, из которых каждое само по себе уже литературное произведение, остались за ним точно необозримое вспаханное поле. Работа его в кино, его сценарии еще ждут своих режиссеров и постановщиков.

Нет, о Маяковском никак нельзя сказать, что он уже весь досконально известен, до конца прочтен, «исчерпан»!

Я к вам приду в коммунистическое далеко, —

заявляет он сам в своем последнем — «Во весь голос».

Мой стих трудом громаду лет прорвет
и явится весомо, грубо, зримо...

Страстно всю свою жизнь он вглядывался в грядущий день.

Со многим, что им создано, еще придется встретиться будущему.

Сейчас, во время Великой Отечественной войны, зазвучали полным звучанием многие давно написанные его строки. Разве они не кажутся нам написанными вчера, а не двадцать лет тому назад?

Маяковский был выразителем лучших чаяний предреволюционной молодежи. А когда рухнул старый мир, сметенный бурей Октября, ни один современный поэт не смог сравниться с Маяковским по влиянию на массы.

В душах и сердцах сотен тысяч людей живет и продолжает совершать свою огромную работу слово Маяковского — они и понесут его в будущее.

Вот одно из многих десятков писем, полученных мною, писем умных и душевных, которые говорят, как происходило рождение читателя

Маяковского.

«Мне сейчас 31 год. Самое яркое, самое важное, что было в моей жизни, это — Маяковский. Я вам пишу, потому что теперь, собирая всякие материалы, относившиеся к его творчеству, к его жизни, может быть, вы и не знаете, какое колоссальное влияние он имел в свое время на молодежь.

В нашей жизни (так как я была не одна) Маяковский появился в начале двадцатых годов, когда мы учились в семилетке... В ней еще очень мало было нового, преподавали бывшие учителя гимназии. В семье, в быту медленно происходила ломка прежних, дореволюционных традиций, понятий. А здесь еще нэп. Все было в головах девочек смутно, непонятно. И вот на этом сером фоне — два томика стихов «12 лет работы», случайно попавшие нам в руки с портретом Владимира Владимировича... А потом — и он сам на трибуне, как символ новой жизни, нового человека.

Произошла настоящая революция в начинавшем кое-как складываться сознании. Сперва дерзкое отрицание всего, что было до сих пор «святыней». Затем утверждение нового, настоящего и будущего. Маяковский стал для нас знаменем, жизненным путеводителем. Он первый дал нам понятие о советской этике, о партийности. Он учил нас тому, чему должна была учить советская школа, в то время еще не умевшая учить, тому, чему должны были учить старшие, в то время имевшие еще порой неустойчивые или просто неверные взгляды на вещи. Мы стали читать Ленина, Маркса, новую литературу. Никогда не верьте, что Маяковский непонятен. Нам было по 14–15—16 лет, у нас не было даже среднего образования, но мы не могли не понять его. То, что не доходило через голову, шло через сердце.

Мы не были знакомы с Владимиром Владимировичем: он нас не знал. Мы знали его хорошо, знали и слышали много раз. Большею частью ходили на его вечера зайцами (не было денег). Как-то раз в аудитории Политехнического музея сидели на сцене под роялем во время выступления Маяковского. Публики было много, в зрительном зале не уместалась.

Смерть Маяковского мне была невыносимо тяжела, как смерть бесконечно близкого человека. Время идет, а я до сих пор не могу (и не хочу!) с ней освоиться. Чрезвычайно близко мне ощущение его друзей, его товарищей, что на шумных улицах Москвы им физически не хватает большой, жизнеутверждающей фигуры Маяковского».

Так воздействовал Маяковский на создание молодого советского племени, так завоевывал он себе своего читателя. Это было трудной повседневной, но благодарной работой. И понятными и еще более правдивыми (если можно быть еще правдивее) становятся его строки в

обращении к В. И. Ленину, одном из самых задушевнейших его стихотворений:

Товарищ Ленин, я вам докладываю
не по службе, а по душе.
Товарищ Ленин, работа адская
будет сделана и делается уже!

То, что проникло в массы из сделанного Маяковским, навсегда врезалось в их сознание, навсегда завоевало ему признание и приверженность к нему. Большой, яркий, бесстрашный, не похожий ни на кого, живет он в памяти своих незримых друзей. Конечно, растут новые поколения, которым вновь и вновь нужно рассказывать о Маяковском. Конечно, вновь и вновь заносит его память пылью, поднятой временем. Но пыль уляжется, а его «Во весь голос» не смолкнет.

Сколько говорили (иногда и говорят) о якобы недоступности и непонятности Маяковского широким массам читателей. Но эти читательские массы доказали свою любовь и внимание к Маяковскому, пройдя стопятидесяти тысячной процессией мимо его гроба, заполнив до отказа улицы, по которым двигалось погребальное шествие. Такой глубокой взволнованности смертью писателя Москва на переживала со дней похорон Льва Толстого.

Оно, это читательское сочувствие, воссоздает и упрочивает облик писателя на века. Маяковский был узан народом как органическая часть своего революционного естества. Народ узнал своего поэта. Никакие многотысячные тиражи изданий не в состоянии удовлетворить спроса на них читателя. Почему сделал это народ?

Потому что он разобрался и без присяжной критики (а иногда и вопреки ей) в том, что сделал Маяковский. Народ понял, как трудно было его поэту наступать на горло «собственной песне» ради песни общественной, как трудно было ему «смирять себя самого», свою «звонкую силу поэта», впрягая ее в общий воз, чтобы «выволакивать республику из грязи»! Народ воспринял и оценил весь размах этой «звонкой силы», добровольно взвалившей себе на плечи долг своего времени, ответственность за него.

Долг этот:

...реветь медногорлой сиреной

в тумане мещанья, у бурь в кипеньи.
Поэт всегда должник вселенной,
платящий на горе проценты и пени.

Народ почувствовал и услышал в поэзии Маяковского большой разговор с собой и со временем. Молодой яростный спор о роли и месте искусства в жизни разросся в стремительную защиту всего нового, рожденного революцией, в нападение на все останавливающее рост этого нового, в отстаивание прав самой жизни.

Вся поэзия Маяковского — это поэзия бойца революции, борца за нашу Родину.

Так вырастали и его поэмы. Закаленным пером бойца написана вдохновенная жизнью и делом Владимира Ильича Ленина поэма о нем. С каждым годом жизни поэта росло в нем чувство родной земли, близости к своему времени и своему народу. И проверенной правдой звучали строки второй по силе поэмы революции — «Хорошо!». «Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше!»

Эту «боевую, кипучую, бучу» любил Маяковский, как свою родную стихию, не со стороны, а как участник и создатель ее кипения.

И «буча» отвечала ему ответным кипением. Строки переплескивались с ее думами и заботами: они были одной крови, одной масти. Потому и ненавидели так остро и неумолимо эти строки все, кому они были приговором или казались таковым, все напуганные и самой «бучей», и строками, ее прославляющими.

Устаешь отбиваться и огрызаться.
Многие без вас отбились от рук.
Очень много разных мерзавцев
ходят по нашей земле и вокруг.

Так обращается он к портрету Ленина с жалобой на мешавших ему и его делу врагов. Он еще не знал, как именно ведется против него кампания этих «мерзавцев». Ему не было известно, что на счету у вредителей и диверсантов он стоит вторым номером — после Горького. Снять его со счетов русской культуры было для них очень существенным. Но, не зная, а чувствуя этот невидимый темный хоровод, покушавшийся на дело всего

советского строя, Маяковский очень беспокоился. Он срывал с себя липкую паутину клеветы, глумления, издевательств, малодушия, которыми оплетали его враги. Он думал, что это общие остатки прошлого, от которых нужно очищать республику. А то были специально против него направленные подрывные меры раздражения, расстройств его творческого начала, отравления его энергии постоянным ядом недоброжелательства, презрительного глумления, саботажа по отношению ко всей его деятельности.

А в это последнее время своей жизни он ставил перед собой огромные задачи. Свою работу, работу за десятерых, он рассматривал как свой долг.

Я помню, как он мне говорил о совершенно новом стихе, о совершенно иной форме обращения к читателю, задуманной им в период написания «рассказов» о «вселении в новую квартиру» и о «приобретении одного чемодана», — стихом, по-новому использующим разговорную речь, обиходный язык рабочего! К этому же относятся его строки о том, что «теперь для меня равнодушная честь, — это чудные рифмы рожу я. Мне как бы только почище уесть, уесть покрупнее буржуя». Вот это стремление обратиться к какой-то новой простоте стиха, но не опрошенности его владело им в последние годы его работы. Он его, этот стих, еще только разрабатывал в упомянутых произведениях. Окончательный результат этих замыслов он берег для поэмы о пятилетке. Мы не увидели этой поэмы. В минуту физической ослабленности великий поэт потерял равновесие. Ему показалось, что выхода из круга неприязни и нелюбви к нему нет. Если бы он видел, сколько любви и дружеского участия его окружает, если бы он знал, как раздавит время его врагов!

14 апреле 1930 года, в 10 часов 15 минут, в своем рабочем кабинете на Лубяньском проезде выстрелом из револьвера он покончил с собой.

В оставленном письме, адресованном «всем», он писал:

«В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил...»

Этим заканчивается его временная биография и начинается другая, более полная и величественная, — в веках.

КОМУ РОДНЯ МАЯКОВСКИЙ

Маяковский начал свою деятельность еще до Октябрьской революции. Его вступление в литературу было ознаменовано возмущением и отрицанием со стороны того общества, в недрах которого он был рожден, но строй которого был ему ненавистен в своих застывших, переставших расти и развиваться формах.

К тому времени умер Лев Толстой. Им был проложен новый путь в искусстве — путь внутреннего показа вещей и явлений, вне зависимости от установленных на них общепринятых взглядов и мерок. Выворотив подкладку общественного строя, обнаружив без пощады ту правду, которая была спрятана за пышной и лицемерной внешностью его, Лев Толстой тем самым подготовил в литературе поколение людей, увидевших трезвыми глазами всю гниль и неправду правящих классов, всю несправедливость взаимоотношений трудящейся массы населения и правящей, привилегированной его верхушки.

Еще никому из исследователей литературы не приходило на мысль проследить эту связь на первый взгляд так далеко отстоящих явлений, какими были Толстой и Маяковский.

А между тем связь эта явна и непреложна, если подойти к этим двум людям без предубеждения. С силой, небывалой до него, Лев Толстой обнажал в своих произведениях ложь и фальшь, заплесневелость, ханжество и несправедливость в окружающем его обществе. Был ли это суд в «Воскресении», семейный быт в высших слоях общества, отображенный в «Анне Карениной», ореол славы завоевателя и придворный быт, разоблаченный в «Войне и мире», — всюду великий писатель, взрыхляя сознание русского человека, обращал его разум к одной главной мысли: вот этого не должно быть. Это было требование разрыва с общественной неправдой, и последний шаг в жизни Толстого был, как известно, попыткой физического ухода от всего прошлого, от всего, что его окружало всю жизнь.

Конец жизни Толстого был началом времени Маяковского.

Нельзя предположить без натяжки, что методы художественного воздействия, политическое мировоззрение Маяковского складывалось совсем под другими — революционными — влияниями.

Но где, как не у величайшего художника своего времени, мог он воспринять правдивость и прямоту выражения, точность гневного

обращения, адресованного к определенным явлениям жизни? А главное — это непреодолимое стремление повернуть предметы и явления той неожиданной стороной, которая обществом считалась неудобной, скрываемой от художественного освещения или в видах неэстетичности показываемого, или из-за того, что показ грозил бы подорвать самые «основы» общества.

Стоит вспомнить хотя бы то же самое «Воскресение», или «Смерть Ивана Ильича», или «Живой труп», или сцены петербургских салонов в «Войне и мире», разоблачающие пружины общественного механизма и всей деятельности государственных и частных людей, чтобы понять, почему так жадно воспринимались сотнями тысяч читателей прямота и резкая правда в описании и крупнейших общественных явлений, и мельчайших деталей окружающего, свойственные художественному методу Льва Толстого.

Но именно эта взятая от величайшего художника нашего времени прямота и правда легла в основу художественного метода Маяковского. После короткого периода «бунтарства в искусстве» Маяковский сразу взял бескомпромиссный, социально-обличительный тон. И страстность этого тона обожгла слух современников неслыханной смелостью заявлений. Так именно была воспринята его первая, обратившая на себя внимание широких кругов поэма «Облако в штанах». «Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию — четыре крика четырех частей» — так характеризовал сам автор содержание своей поэмы в предисловии ко второму изданию.

Эта поэма заставила сплотиться друзей и насторожила врагов. Изуродованная цензурой, испещренная многоточиями, она переходила из рук в руки взволнованной молодежи, необычайная по своему виду, по силе и смелости гнева и горя и страсти. Многие в ней еще не было доказано, многое только намечалось к выражению. Но главное было то, что в поэзии так еще никто не говорил, так близко никто не подходил к повседневному, к его внутреннему смыслу и значению. Революция, изменение целей и смысла жизни — вот что было внутренним содержанием этой поэмы, всей взметанностью своих строк, всей нарушенностью принятых пропорций говорившей о чем-то новом, близком, готовом к рождению.

И недаром в этих «четыре крика четырех частей» поэмы отчетливо проглядывала родственность с построением образов у Льва Толстого. Один великий бунтовщик передавал свои родовые черты другому, младшему. Но черты преемственности узнавались не сразу, проступали на молодом лице в другом обличье, в другой судьбе. Не только в последней части, как того

хотел бы, по замыслу, автор, но и в остальных трех то и дело выступает на сцену эта борьба с высшим авторитетом, с непреклонной силой, изобретенной людьми, якобы вершащей их судьбы, определяющей их участь. Самое первоначальное название поэмы, запрещенное цензурой, говорит об этом. «Тринадцатый апостол» — так первоначально должна была называться поэма. И евангельский этот образ, конечно, был преемствен от Толстого.

Следующее, наиболее значительное произведение Маяковского уже зримо названо так, что оно перекликается с величайшим произведением Льва Толстого. «Война и мир» — так озаглавил Маяковский свое предреволюционное видение мира («мир» здесь взят в смысле «вселенная»). Та же страстность и непримиримость, как и в начальных его произведениях, но уже более мужественная, более определенно направленная против конкретных явлений действительности, нашедшая новые краски и образы в самой безобразности этой действительности.

Хорошо вам.

Мертвые сраму не имут —

такими словами начинается пролог к поэме. Может ли быть, чтобы Маяковский, остерегавшийся всякой стилизации, как проказы, применил такой оборот только ради торжественности начала? Нам кажется — нет. Он применил этот оборот (как и другие многочисленные библейские и евангельские образы — рядом с ультрасовременными в этой поэме) сознательно, так же, как часто применял их, в цитатах ли, в эпитафиях ли, сам Лев Толстой: ради широкой известности их в народной среде, доступности их и художественной убедительности для широкого круга читателей.

Вся страстная полемичность, вся иногда кажущаяся грубость Маяковского стоят в прямой связи с поиском той правды, которая обуревала обоих этих неукротимых людей и заставляла их прибегать к еще неслыханным средствам художественного воздействия.

Вот почему те, чье спокойствие было нарушено творчеством и Толстого и Маяковского, пытались выискивать в их творчестве человеческие слабости и уязвимые места, которые бы помогли объявить их обличительный, гневный, страстный способ разговора оригинальничаньем, сумасбродством не знающих меры эстетически дозволенного проповедников.

Вместе с Октябрьской революцией перед Маяковским открылся широкий путь свободного высказывания без цензурных рогаток. То, что он говорил, совпадало с тем, что хотел бы высказать народ в подавляющем большинстве своем. Но долго еще держалось над Маяковским привязчивое недоброжелательство людей, воспитанных в привычках и идеалах старого мира. Главным в обвинениях, предъявляемых Маяковскому, была его безродность, оторванность от традиций русской литературы, от ее великих имен. Нам кажется, что настало время разоблачить эту неправду.

Мы говорили о связи между Маяковским и Львом Толстым, о том, что великий русский писатель был в числе ближайших учителей и воспитателей великого поэта революции. Но это не значит, что и от других имен русской литературы Маяковский был оторван.

Державинская ода (которая выражала участие поэзии в жизни государственной и была признаком возмужалости поэзии, не боящейся принять и на себя ответственность за дела и события своего времени) — державинская ода была возрождена Маяковским, хотя, конечно, и не в ее первоначальном виде.

Еще его дореволюционные сатирические оды: «Гимн судье», «Гимн здоровью», «Гимн ученому», «Гимн обеду», «Гимн взятке» — были, по существу, не чем иным, как перевернутыми наизнанку одами. Он сообщил оде бичующую силу сатиры:

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
И тысячи блюдищ всяческой пищи.

Так начинается «Гимн обеду». Конечно, сейчас же это прославление обеда сменяется на злое и убийственное высмеивание носителей «желудочной идеологии», но сам принцип оды остается. И если вспомнить хотя бы такую идиллическую оду Державина, как «К моему соседу», станет ясным, что Маяковскому было знакомо величественное развертывание свитка этого жанра, хотя применил он его совсем с иными намерениями. То же можно наблюдать и в его «Гимне судье», сравнив это произведение с одой Державина «Властителям и судьям», и не только по близости их тематической. И здесь, как в уже описанном нами случае, прямое обличительное содержание державинской оды у Маяковского смещено и заменено сатирически-издевательским.

Как бы готовясь к будущим великим событиям, Маяковский искал величественных форм выражения своих чувств. И недаром торжественные интонации «Памятника» Державина, пройдя через горнило пушкинского стиха, отразились в последних строфах «Вступления в поэму о пятилетке» у Маяковского. Стих его вобрал в себя все достижения русского стиха. Этим и объясняется такое многообразие ритмов у Маяковского, такая свобода в обращении со словом, которому он был полновластный хозяин.

Да, надо говорить и о родстве его с Пушкиным. Как в свое время Пушкин, Маяковский стал преобразователем русского стиха, сообщившим ему свободу и гибкость разговорной речи. Как и Пушкину, Маяковскому были свойственны быстрота, яркость, неожиданность поэтического темперамента. Как при существовании Пушкина не был мыслим в художественной литературе никакой иной «властитель дум» людей, любящих и понимающих поэзию, так и во время деятельности Маяковского стало правилом, если не подражать ему в самом понимании задач поэзии, то во всяком случае, считаясь с работой Маяковского, изобретать какие-то параллельные ему пути для своей работы в поэзии. Могут возразить, что Маяковский не целиком завоевал поэтическую арену, что наряду с ним жили и действовали поэты, инакомыслящие и инакопишущие. Конечно, мы не имеем в виду полного затмения Маяковским других индивидуальностей, как не было этого и при Пушкине. Но все-таки главной, объединяющей вокруг себя фигурой поэзии оставался Маяковский, как главной объединяющей и дающей жизнь поэзии прошлого века фигурой остался Пушкин.

И при Пушкине жили и Баратынский, и Языков, и Вяземский, и после его смерти жило много других хороших и просто поэтов. Но все же они жили при Пушкине или после него: летосчисление существования новой русской поэзии ведется от него или в применении к нему. Точно так же летосчисление новейшей русской поэзии со времени советского ее существования может вестись только в применении к творчеству Маяковского.

Как известно, Пушкин неоднократно возвращался к мысли о том, что развитие русского стиха ушло от понимания его народом, изменив внутреннему соответствию строю народной речи, ее ритму, ради усвоения правил стихосложения, пришедших к нам от чужих литератур. Сам Пушкин не раз заявлял о ему уже надоевших формах ямба, им же самим привитого к дичку русского стихосложения.

Четырехстопный ямб мне надоел:

Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора бы его оставить, —

пишет Пушкин в «Домике в Коломне».

При этом нужно принять во внимание, что пушкинский четырехстопный ямб (которым написан, например, «Евгений Онегин») был сам по себе чрезвычайно емким и гибким размером, позволявшим вести речь свободно и широко по сравнению со стихом ломоносовским и даже державинским. И все-таки сам Пушкин уже искал для себя новых выразительных средств. Что же можно было сказать об этом размере через сто лет его существования? «Мальчики», которым он был «в забаву», состарились и успели умереть, а новые поколения не придумали ничего взамен ему и другим вместе с ним родившимся формам стиха. А между тем сам Пушкин указал «младому, незнакомому племени» дорогу, по которой он думал вести русский стих.

Дорога эта была в обращении к народной русской речи, к говору людских масс, к их пониманию размера, благозвучия, композиции речи, как проявилось это понимание в пословицах, поговорках, прибаутках, сказках, песнях, заговорах и заклинаниях. К этому он и стремился, прислушиваясь к говору московских просвирен, к сказкам Арины Родионовны, к песням о Стеньке Разине.

Но ему нужно было строить большое и безалаберное хозяйство русской книжной речи, засоренное галлицизмами, испытывшее на себе все влияния, начиная от греческого церковного языка, кончая книжными иностранными терминами, внедрившимися вместе с проникновением научных и технических знаний. Пушкину нужно было создать заново русский стих и русскую прозу, драму и лирику. Создать заново, дать ей самостоятельность и независимость. Гениальный Жуковский при всей его одаренности был в значительной мере не столько самостоятельным творцом, сколько тончайшим передатчиком музыки чужих образов, чужих напевов. Лермонтов еще только начинал показывать свои силы. Языков, Дельвиг? Они были тоже зависимы от ранее развившихся литературных традиций. Пушкин как бы один отвечал за судьбы русской поэзии. Жизнь была коротка, а замыслы огромны. Проза и лирика, драматургия и полемика, эпиграммы и роман в стихах, повести и переводы! Какое неумное сердце, какой размах постоянного кипения в труде, в горячке забот и задач!

Разве не похоже это на судьбу Маяковского? Разве не волевым

напором, постоянным кипением, разгромом врагов и сбором друзей новой поэзии, новых задач, поставленных перед нею, характерен был этот неисчерпаемый источник тревоги и радости своего времени? Нет, они вовсе не были в разных столетиях — Пушкин и Маяковский. Они были вместе в одном тысячелетии: память о таких не меряется менее крупными отрезками времени!

Стихи и драматургия, кино и плакаты, лозунги и марши, эпиграммы и устные выступления в сотнях городов, на тысячах эстрад, с проповедью о новом — вот многообразие деятельности Маяковского. Изменились методы воздействия, изменилась аудитория, но неизменен облик труда поэта, живущего в самой гуще задач своего времени.

И наконец — и это главное, — надо сравнить взгляды на задачи и пути дальнейшего развития поэзии у Пушкина и Маяковского.

Пушкин часто задумывался над народным стихом. Он понимал, что после того, как книжная речь наберется сил, когда язык литературный приобретет богатство опыта, когда он пройдет первоначальную, подражательную стадию развития, — можно и должно будет обратиться к языку народному, к его строю и складу, внесение которых в литературную речь и будет истинным завершением развития литературного языка.

«В зрелой словесности проходит время, — говорит он, — когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию».

Это чрезвычайно важное высказывание Пушкина дает ключ к остальным его мыслям о развитии нашей словесности. Его же работа над сказками, его «Песни Западных Славян» и в особенности «Песни о Стеньке Разине», начало сказки о медведице «Как весенней теплой порою», наконец, «Сказка о попе и работнике его Балде» говорят об этих поисках Пушкина. Он искал русский стих безразмерного склада, ритма, идущий от внутреннего, душевного движения, переживания, а не внешне выверенный по метроному. Этот поиск речи, «точной и нагой», как называл ее Маяковский, замедляющейся и убыстряющейся в зависимости от внутреннего движения чувства, после Пушкина был ослаблен и затерялся в подражаниях образцам.

«Странное просторечие», о котором говорил Пушкин, была не та книжная речь, что установлена была незыблемым канонem для литературного языка. Даже Некрасов, пытавшийся обновить и вывести русский стих из однообразного повторения все тех же знакомых метрических форм, сообщить ему живость движения разговорной речи, не

смог преодолеть груза книжности, общепринятых образцов и оборотов, условных красот и сравнений. И в Некрасове больше выразилась сила русской тоски, сила горя народного, чем сила цветения, яркости, смелости, бесконечного оптимизма народного искусства.

Но в творчестве Льва Толстого русская литература вновь поднялась на крепкие ноги речевой народной норы. Уже не писатель «сочувствовал народу» — народ сочувствовал писателю, видя в нем своего выразителя, и не только по тематике, а по строю мыслей, по способу их выражения.

И вот родился поэт, как будто порвавший все связи с традициями, отказавшийся от них, провозгласивший себя наново начинающим культуру поэзии. Казалось бы, что эти заявления ставят его вне всякой преемственности, делают безродным. На самом деле именно этот поэт — Маяковский — был ближе всех к выполнению заветов и Пушкина и Толстого.

Отказался он от книжности, от «условленного», избранного ограниченным кругом книжного языка. Отказался, потому что наступил зрелый период «русского искусства, требующий нового, своего, становления».

И переход Маяковского на сторону «улицы», которая была далека от книжной поэзии, был именно тем шагом, который предрек Пушкин для поэзии, шагом к «странному просторечию», казавшемуся странным или грубым, неизящным тем, кто привык к велеречивой напряженности книжного условленного языка.

Грубость Маяковского? А разве и к Пушкину не были обращены упреки в огрублении поэтического языка? Как возмущались языком «Руслана и Людмилы»! Этот язык объявляли «несоответственным» языку того слоя публики, который был «призван» судить литературные произведения.

Прочтите вновь заметки Пушкина о своих произведениях. Вы увидите, как много в них общего с полемикой Маяковского в отношении своих критиков. Перечитайте «Сказку о попе и работнике его Балде», вы почувствуете, как близко она стоит к «150 000 000» Маяковского. Окиньте непредубежденным взором всю широту, многосторонность, задорность и темпераментность деятельности обоих поэтов. Вы узнаете родовые черты великого предка в его потомке, принявшем на свои плечи груз обязательств постоянного движения вперед, борьбы с застоем, остыванием родной литературы.

И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

(Пушкин)

Где б ни умер, умру поя.
В какой труппе ни лягу,
знаю — достоин лежать я
с легшими под красным флагом.

(Маяковский)

И это ощущение своей близости к родине, к ее самому кровному, сокровенному смыслу так же роднит, так же сближает их через столетие, легшее между ними.

Черты огромной заинтересованности в существовании своей страны, в существовании ее культуры, гордость ею, верность ей до последнего вздоха отмечают строителей ее, ее преобразователей.

Раскрытие гения Маяковского произошло вместе с раскрепощением духа народного, вместе с Великой Октябрьской революцией. В ней он увидел рост своей Родины, в ней почувствовал «зрелое время словесности», время, которое раскрыло все родники ее скрытых неисчерпаемых сил. С огромной страстностью, с безоглядной смелостью бросился поэт на помощь своей стране, поставив свое искусство на службу революции. В этом он видел главную и неотложную задачу литературы. Ряд фундаментальных поэм создан им за это великое время. «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Про это» — произведения, по которым будут изучать нашу эпоху потомки. И наряду с этим огромная работа по газетам, по лозунгам, по обслуживанию самых разнообразных сторон новостройки народной культуры, наряду с этим попытка заново переосмыслить народное зрелище, кино, театр! Нет, такого темперамента, такой силы поэтической многогранности не видела наша литература со времен Пушкина!

В коротком очерке обо всем не расскажешь. Мы назвали Державина, Пушкина, Льва Толстого. Но, разумеется, ими не исчерпывается список «литературных» предков Маяковского. Можно бы многое сказать о родовых

связях Маяковского с великим творчеством Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Блока, о том литературном и личном влиянии учителя и воспитателя, которое оказал на Маяковского Горький. Маяковский — великий представитель нашей культуры не только по своим личным качествам. В нем сосредоточились все лучшие традиции, которые были свойственны наиболее крупным явлениям нашей поэзии: самостоятельность, неподвластность чужим влияниям, самобытность и право на собственный голос, завоеванное годами яркого, неукротимого труда, становящегося рубежом и мерой своей эпохи.

И Маяковский, великий русский поэт, через Державина, Пушкина, Льва Толстого принял на себя эти родовые черты негибимой, свободной, все преодолевающей на своем пути русской культуры.

1943 год